

Сад

Вечеслав Казакевич

Сад пришел ко мне сам.

Одно из моих начальных воспоминаний: я лежу в узкой спальне на кровати, застланной грубым домотканым покрывалом смутного коричневатого цвета, у низкого, широко распахнутого окна. И в окно лезет, я уже откуда-то знаю, как его зовут, сад.

Сохранившиеся в памяти младенческие впечатления обычно кажутся расплывчатыми и туманными. Но это вина не детской, а взрослой души. То, что первые впечатления представляются нам обрывочными, подернутыми дымкой, говорит лишь о том, насколько с годами притупилось наше внутреннее зрение, насколько наше сознание с возрастом загромождается всяким хламом, мешающим полно и ясно разглядеть открывавшиеся нам когда-то самые точные и прекрасные картины бытия.

В пришедшем ко мне саду не различалось никаких деревьев. Сад весь состоял из зеленого блещущего света со своим голосом и запахами. Голос звучал то низко и тихо, то мелодично свистяще, то гудяще, то походил на человеческую речь. И все время в нем слышалось что-то родное и ласковое. Запахи были не менее разнообразны, но в целом слагались в прохладный аромат чистоты.

Мое детское воспоминание связано с поездкой родителей в деревню, где жили дед и бабушка. С тех пор я не раз там бывал и назубок знаю, какие деревья шумели в дедовском саду, где гудели ульи с пчелами, где под окном могли стоять и разговаривать мои родные и близкие. Но сладостнее, все забыв, закрыть глаза и вспомнить просто живой зеленый блеск, который внятно говорит о радости, свежести и счастье.



Предкам русских нетрудно было поверить в старинное предание о мировом древе, охватывающем и землю, и небо, и подземное царство. Древняя Русь была сплошь покрыта непроходимым лесом. Деревья тогда были судьями: суды происходили под дубами, и приговоры, вынесенные под ними, считались внушенными свыше. Деревья являлись жрецами: трижды обойдя ствол, сочетались браком. Деревья работали врачами: березы поили людей целебным соком, а дубы лечили от зубной боли, надо

было только их погрызть. Деревья были добрыми волшебниками, побеждающими злые силы. Колдуну, чтобы он не мог ожить, вбивали в спину осиновый кол. В стволах жили лесные девы, которые болели вместе с деревом и умирали, когда оно засыхало или падало. Деревья были божествами.

И одновременно девственный сад, раскинувшийся на тысячи верст, был сумрачным врагом, с которым вели беспощадную войну, отвоевывая у него землю для посевов.

Нетронутым оставался другой русский сад - сказочный. Уж это был сад так сад! Он вырастал из убитой красавицы или из чудесного зеленого сундучка. Лично мне больше нравятся деревья из прекрасной девушки. Но листва и ветви, выпрыгивающие из сундука зеленого цвета, тоже совсем неплохи. В саду блестели два колодца: один с живой водой, другой – с мертвой. Брызнешь мертвой водой на изрубленного человека, все раны вмиг заживают. Плеснешь живой водой, встает убитый, как ни в чем ни бывало.

Иногда про чудный сад рассказывали совсем просто: «...большой да ветвистый, в нем птицы певчие поют, на деревьях цветы цветут, груши-яблоки спелые висят». Как видите, русский человек не мечтал о каких-то необыкновенных фруктах при самом безудержном полете фантазии. Даже в сказке у нас не растут бананы! Не сразу замечаешь, что чудо в другом: выдуманный сад в один и тот же час и цветет, и увешан спелыми плодами.

Но чаще в нем росли яблоки не простые, а серебряные и золотые. И не простые серебряные и золотые, а молодильные. Съешь одно такое, сразу становишься молодым. Мало того, превращаешься в писаного красавца. А превратившись, замечаешь, что по саду в одиночестве гуляет Настасья Прекрасная.

Наши сказочники и внимавший им с открытым ртом народ, представляя волшебный сад, меньше всего тосковали об изобилии, сытости и комфорте. Русский сказочный сад – это мечта о красоте, бессмертии и любви.

Этому чудесному саду не было места на знакомых равнинах. В сказках он помещался за тридевять земель, что, в сущности, значило, что никакой реальной землей там уже не пахнет. Для обычных смертных сад был недоступен.



Тысячу лет назад русские приняли христианство. До этого они воевали с деревьями за территорию, теперь объявили им еще одну войну, религиозную. Из судей и божеств деревья были разжалованы

в поганые. Топоры и пламя набросились на священные языческие рощи, на чащи, в которых скрывались древние идолы и капища.

Прекрасных природных садов стало меньше. Зато вдобавок к воображаемому сказочному саду наши предки с крещением получили еще один неземной сад – райский. С трепетом русский человек постигал, что Господь Бог – это, в первую очередь, садовод, поскольку, сотворив небо, землю, свет и воду, Он вслед за тем создал траву и деревья, райский сад.

В райском саду нет колодцев с живой и мертвой водой, золотых и серебряных яблок. Но Адам и Ева живут там в любви и блаженстве, им не надо трудиться, они не знают горя и забот.

Продолжение ветхой истории известно: отведав плоды с запретного дерева познания добра и зла, первая супружеская пара была изгнана из рая, и Бог поставил херувима с пламенным мечом охранять потерянный людьми сад.

На долгие века русский народ запомнил, что по-настоящему чудесный сад выходит не из человеческих рук, а растет сам собой из сказочного волшебного сундука и тела неведомой красотики или является творением Божьим. При жизни смертного настоящий сад для него недостижим. Но после смерти у каждого есть шанс навсегда поселиться в райских кущах. Нужно только исполнять христианские заповеди, среди которых важнейшее место занимает презрение к земным благам, в особенности к богатству и роскоши. Иметь преходящий земной сад значило потерять вечноцветущий сад небесный.



Наш сад скрывался за домом. Чтобы попасть в него, надо было прошагать по вытянутому двору, где слева плотно и серо стояли сараи и поветь, а справа за частоколом лежал огород, куда бабушка никого не пускала и где рос такой величественный лук, что очень долго я не мог сравниться с ним в росте. Открыв позеленевшую от старости, грубо сплетенную из кривых жердин калитку, я проскальзывал в нее и сразу закрывал снова, чтобы следом не увязались любознательные куры.

У японцев есть специальная обувь для сада. В России не знают подобного обычая. Но когда летом я входил в сад, мне сразу хотелось разуться: такая густая, девственная и необыкновенно чистая трава вставала передо мной. Я сбрасывал сандалии, носки, делал шаг босиком и вздрагивал от наслаждения: ощущение колоссальной, прохладной, шелковой силы, исходящей от земли,

пронзало меня от пяток до макушки. Это не люди додумались не ходить по саду в уличной обуви. Это сад воспитал их так.

Дедовский сад был соток в 15. За углом сарая, выходявшего в сад, вдалеке таилась дощатая, опрятная уборная, взявшая у сарая займы одну его стену и краешек толстой соломенной крыши. На гвозде в уборной вместо туалетной бумаги всегда висел пожелтевший отрывной календарь за прошедший год. Сад жил в прошлом, спокойно отставая от людей, невозмутимо или, может быть, с тайной улыбкой относясь к тому, что стоит жара, а на зыбком календарном листке в полураскрытой уборной жирным черным шрифтом напечатано: «январь». Мягкая тропинка вела от калитки к небольшой баньке, что стояла в конце сада.

Бывая в гостях у своих японских знакомых, я любовался их садами. И всегда мне казалось, что японский сад существует в одном единственном экземпляре. Остальные японские сады – лишь копии разного качества и размера с того, созданного давным-давно удивительного оригинала, который, возможно, бережно хранится где-то как национальное сокровище или же навсегда утерян. Сады, растущие рядом с русскими домами, тоже похожи друг на друга, и все же почти в каждом из них для меня есть нечто особенное.

Диковиной нашего сада была дикая груша, высившаяся в центре сада. Такой груши я нигде не встречал. Было ясно, что родилась она в лесу, где попала на глаза деду, решившему переселить ее к своему дому. С этой груши, наверное, и начался его сад. От других деревьев она отличалась не только ростом, но формой и цветом листьев. Они были меньше, чем у других деревьев и только вблизи казались такими же зелеными. Стоило отойти на несколько шагов, становилось видно, что от них исходит неуловимое, но явственное серебристо-серое мерцание.

Когда никого рядом не было, я любил плотно прижать ладонь к гладкому и прочному стволу груши. Ладонь ощущала другую, таинственную жизнь, которая была у меня прямо перед носом, под рукой, и в то же время отстояла от меня дальше, чем жизнь звезд.

Еще по саду было беспорядочно разбросано штук шесть развесистых, с обширной тенью антоновских яблонь, на которых в урожайный год высыпало столько плодов, что уже в июле дед со всех сторон обставлял яблони шестами, чтобы они поддерживали тяжелеющие, грозящие обломаться ветви. Весело было представлять, что с рождения застывшие, как вкопанные, яблони неожиданно обзавелись многочисленными ходулями и готовятся пуститься в дорогу, в зовущую синюю пустоту полей, светящуюся за баней.

Если же на какой-нибудь из яблонь яблоки не появлялись, дед подходил к ней с топором в руке и, стукнув обухом по стволу, мрачно обещал:

- Вот ссеку тебя к чертям собачьим, и в печку! Тогда узнаешь...

Дед не объяснял, что яблоня может узнать, если не родит яблок в следующем году. И сама яблоня тоже, видимо, не очень интересовалась тем, какие знания может получить в печке, потому что на другое лето, как правило, исправно покрывалась тяжелыми, светло-синими яблоками.

- Что? Испугалась деда? – с оттенком добродушного злорадства спрашивала бабушка, проходя мимо.

К частоколу, отделявшему от сада огород, жалось несколько низкорослых слив. У глухой стены чужого сарая двумя небольшими зелеными холмиками стояли два куста крыжовника. Весь сад обычно был засеян клевером, но хватало в нем места и для крапивы с репейником. Ближе к бане сердито и монотонно гудели два пчелиных, с прорезью, как в броневику, домика. Сначала я побаивался пчел, но потом привык и не обращал на них внимания. Почему-то веришь, что свои домашние пчелы так же, как дворовая собака, никогда тебя не укусят.

В летние месяцы в облике сада было что-то торжествующе-ленивое, важное, все в нем происходило как бы не спеша. Медленно укрупнялись яблоки, спокойно колыхались от набежавшего ветерка глянцево-зеленые листья, в плотной тишине и синеве надолго застревают стрекозы, бабочка-капустница, сложив крылья, впадала в столбняк на подвернувшемся цветке. Иногда за ночь в саду узкой темной лентой вспучивалась земля. Это рыл свои тоннели крот. Но и крот, явно, тоже никуда не спешил, потому что, прорыв один короткий тоннель, тут же, наверное, брал отгулы или уходил в отпуск, поскольку на следующий день следов новых подземных работ уже не замечалось. У сада, блаженствующего под ярким небом, был такой вид, будто лето никогда не кончится.



Первые сады на Руси появились у князей и монахов. Во многом они выросли из книг. Знать и монахи были образованы, с важным удовольствием предавались чтению и хорошо знали, что не только Бог владел великолепным садом, но и легендарные цари и царицы, знаменитые воители и мудрецы. Инок в садоводов превращал, кроме того, суровый монашеский устав, который предписывал им «свои труды ясти и пити».

Сады, окружавшие монастыри и богатые дома, походили в главном: деревья, растения, водоемы, которых содержали за каменными стенами и дубовыми частоколами, должны были трудиться на человека. Эти сады были смешанными: в них росли и фруктовые, и обычные деревья. Яблони, сливы, вишни, смородина, подсолнухи кормили своих владельцев. Пруды снабжали их сытной пищей в постные дни. Простые деревья тоже не стояли без дела: они осушали болотистую почву, охраняли водоемы, подкармливали пчел. В княжеских садах для забавы детворы и девушек часто строили пестро раскрашенные, с узорами качели.

Упорядоченный, живущий в заданных границах и покорный своему хозяину сад не мог не выделяться среди окружавшей его дикой и своенравной природы. Для русских монархов образ сада со временем срастается с понятием об идеальном государстве.

Известны слова Ивана Грозного: «Я, аки господин винограда, поставлен Богом над народом моим возделывати виноград мой».

Для Ивана Грозного государство как сад - это пока еще метафора. Но чем популярнее метафора, тем быстрее она материализуется в обыденной жизни. И всякий раз невозможно предугадать, во что превратится метафора, упав из воздушной стихии слова на твердую почву реальности.



Для Петра Первого государство или по крайней мере столица, превращенная в цветущий в правильном порядке сад, стали не поэтическим преувеличением, а практической целью.

В Петербурге он раздает своим придворным участки земли с условием: не только возвести дома, но обязательно разбить сады. И не те сады, к которым привыкли русские бояре, а сады по европейскому образцу. Над императором, ненавидевшим старую Русь, довлела все та же давняя, сказочно-христианская модель, согласно которой идеальный сад лежит за тридевять земель.

Петр не собирался приближать Россию к Европе. Как герои русских сказок, которые добивались до волшебного сада для того, чтобы доставить на родину чудесные яблоки, он хотел тридевятую землю одним махом перенести на русскую почву.

Из-за границы пришлось выписывать буквально все: садоводов, семена, саженцы, инструменты. Немало старинных знатных фамилий обнищало в дорогостоящих затеях.

И как должны были неграмотные русские крестьяне, тысячами умиравшие от непосильной работы в петербургских топях, воспринимать выроставшие геометрически прямые аллеи с

обнаженными изваяниями? Наверно, так же, как египетские рабы воспринимали возводимые ими пирамиды. Сад, в который Петр возжелал обратить столицу империи, был чужд для ее коренного населения. Простонародье в рабочей одежде не пускали даже в публичный Летний Сад.

Доныне в окрестностях Петербурга зеленеют сады 17-18 веков. Не раз в выходные дни я ходил по старинным тенистым дорожкам, поднимался по мраморным ступеням опустевших дворцов, вдыхал сырое шумное дыхание фонтанов, щурился от позолоты и белизны статуй. Толпы туристов, фотоаппаратов и мороженого текли навстречу, но меня не оставляло чувство, что знаменитые сады давно обезплодели и превратились в бездушную фантазмагорию.

Эти эфемерные сады были созданы для того, чтобы императрицы выгуливали в них надушенных собачек; вельможи запускали носы в алмазные табакерки и, чихая, извергали из себя галантные остроуты; кокетливые фрейлины задирали головы к гулко рассыпающемуся невесомому фейерверку, не забывая украдкой пожимать ладони своим кавалерам; чтобы юный Пушкин прятался в зарослях, подкарауливая в сумерках спешащую куда-то полногрудую горничную.

Декорации живут, пока идет спектакль, пока на сцене говорят, смеются, поют актеры. Потом занавес закрывается, разноцветные прожектора гаснут, театр пустеет, и то, что еще недавно казалось зрителям великолепными дворцами, деревьями, лестницами, становится в темноте бессмысленным мертвым нагромождением небрежно оструганных досок и грубо размалеванного холста.



Русская классическая поэзия родилась в саду. По признанию Пушкина муза впервые явилась ему в садах Лицея.

Большинство важнейших событий его романа «Евгений Онегин» связано с садом. В саду Пушкин встречает героиню романа – Татьяну. Онегин поселяется в деревенском доме с огромным старым садом. В саду Татьяна грустит, мечтает, решает написать письмо Онегину с признанием в любви. Свидание и объяснение у них происходит тоже в саду. Там же гуляют сестра Татьяны со своим женихом. Все центральные персонажи романа то и дело оказываются в саду. И когда Татьяна переселяется в Петербург, она готова отдать все за возвращение в старый сад.

В основе «Евгения Онегина» лежит ветхозаветная история Адама и Евы. Евгений и Татьяна, встречающиеся в провинциальном русском саду, - это Адам и Ева 19 века. Но у Пушкина не женщина,

а мужчина отвеживает плод с дерева познания добра и зла. По столичному образованный и уже разочарованный Онегин как нельзя лучше подходит на эту роль. Его разговор с Татьяной в саду, его поучения – не что иное, как угощение запретным плодом целомудренной, не ведающей стыда Евы. Пушкинский роман развивается в райском саду.

Сад вырастил всю русскую поэзию, а во многом и прозу 19 столетия. Сотни, если не тысячи стихотворений посвящены саду. Герои знаменитых романов и повестей разговаривают под шорох листвы и пение птиц.

В саду, воспеваемом поэзией и прозой, никто не работает. В нем гуляют, забывают на скамейках недочитанные книги, которые немедленно начинает листать ветер. Там философствуют, пьют чай и вино, катаются на лодках, но главное, любят. Сад существует для любовных пар, в нем все молоды и красивы, он – место свиданий, зеленая страница, на которой пишется история любви.

В нескончаемых аллеях почти всегда теплынь, лето, порой весна, редко осень, и по сути дела нет зимы. Нигде не видно обычных фруктов. Деревья словно перестали плодоносить. Но взамен земных плодов выросли поэтические. В литературном саду растут луна и поцелуи.

Не стоит объяснять, куда уходят корни этого сада.



Осенью в листве нашего сада открывались золото и пламя. День за днем сад становился все более желто-алым. Пестрота красок не резала глаза, она смягчалась, сливаясь с небесной синевой и неподвижными белыми облаками. В тусклой позолоте и приглушенном багрянце сад стоял на земле, как старинная икона.

От дождей и обильной росы в него входил холодный, сверкающий запах сырости. Голоса птиц и насекомых умолкали, уступая место другим звукам. Громче шуршала твердеющая листва, звонче ломался сухой сучок. То и дело раздавался глухой, но отчетливый стук: это ударялись о землю срывавшиеся яблоки. В плохую погоду казалось, что вокруг сада, как вокруг широкого бильярдного стола, с невидимым кием бродит ветер, прицеливается в приглянувшиеся ему яблоки и с треском сшибает их с веток.

Человек обычно оглядывается на звук любого падения. Есть в этом звуке что-то тревожное, пугающее. И только дробь дождевых капель, стук падающих яблок и шорох облетающих листьев успокаивают душу.

И как приятно было подобрать из мокрой травы синевато-желтый, с черным черенком шар, небрежно вытереть его о рукав и, вдохнув исходящий от яблока одуряющий аромат, впитаться зубами в сочный скрипучий бок.

Сейчас, купив яблоко, я вижу, что передо мной просто яблоко из магазина. А тогда у меня в руке был отвердевший, округлившийся дождь, смешавшийся с прохладным солнцем и сверкающими облаками, странный бочонок, упавший с неба и до краев наполненный стужившимся осенним утром, светом и росой.

Но чем больше было в саду яблок, тем меньше их хотелось есть. Ни разу я не видел, чтобы их ели дед и баба. Время от времени бабушка собирала яблоки в ведро и, прихватив с собой табуретку, выходила на шоссе. Иногда она сидела там целый день, с надеждой глядя на любую, вырвавшуюся вдали из серого асфальта машину. Но машины возле ее ведра и странно смотревшейся на дороге домашней табуретки останавливались не часто. Вдоль шоссе, нахохлившись, чернели и другие старики и старухи с корзинами и ведрами. Во всех деревнях, через которые проносились машины, чаще километровых столбиков на обочинах торчали яблочные пенсионеры.

Зато с каким победным торжеством бабушка входила во двор, когда ей удавалось почти за бесценок высыпать кому-нибудь в багажник гору янтарных ароматнейших яблок.

- Вот! – гордо показывала она рубль, торчавший из ее сухого кулачка, как желтый осенний листок. - Наторговала на хлеб!

Но чаще она возвращалась с тяжелым, не опустошенным ведром и оставляла его на земле у калитки. А табуретку, обмахнув с нее пыль, вносила в дом. Ведро оставалось, как никому ненужная вещь. И в выглядывающих из него яблоках было что-то виноватое.

В Японии я был деревне, жители которой выращивают умэ и зарабатывают на их продаже солидные деньги. В Советском Союзе это было совершенно невозможно! У колхозников было много стариковских лысин и седин, но не было ни транспорта, ни средств, ни сил, ни умения, чтобы продавать урожай своих садов в городах. А государство особенно не утруждало себя приемом плодов у крестьян. Проще было закупать за границей уже собранные и упакованные в картонные ящики фрукты.

В Москве с осени до весны продавали краснощекие, но безвкусные, как солома, венгерские яблоки и зябнувшие на русском морозе апельсины из Марокко. А наливные, пахучие яблоки из нашего сада падали и гнили, их клевали дождь и птицы, обсасывал туман, точили черви. Пытаясь получить хоть какой-то прибыток для хозяйства, бабушка разрезала яблоки на сочные полумесяцы и раскладывала их на горячей печке. Из засушенных ломтиков яблок

она собиралась всю зиму варить компот. Но варила такой компот раза три-четыре, не больше, потому что они с дедом привыкли пить молоко да воду и изредка, в праздник, по чарке самогона.



Поэму Гоголя «Мертвые души» привыкли называть портретной галереей, представляющей типы русских помещиков начала 19 века. Но ее можно назвать и галереей садовых пейзажей. Изумительных описаний садов в гоголевской поэме не меньше, чем рассказов о людях. Это настоящий каталог помещичьих садов, дающий и мельчайшие их детали, и обобщенный вид.

В саду начала 19 века обитают береза, похожая на мраморную сверкающую колонну, хмель, кусты бузины, рябина, лесной орешник, дуплистая дряхлая ива, седой чапыжник, клен с зелеными лапами-листами, высокорослые осины с вороньими гнездами на вершинах. В их тени узкие дорожки, обрушенные перила мостика, пошатнувшаяся беседка. Как видим, обычных деревьев в этом саду не меньше, а возможно, и больше, чем фруктовых.

Сад не охраняется, если не считать того, что небогатые дворяне порой велят укрывать яблони сетками для защиты от жадных туч сорок и воробьев. Сторожами служат расставившие сучковатые руки чучела, на одном из которых надет чепец самой хозяйки сада.

Крестьян впускали в сад лишь для сбора урожая. В такие дни помещики заставляли их громко, без умолку петь.

Попробуйте, сможете ли вы что есть силы голосить: «Сакура, сакура...» и одновременно с аппетитом уплетать грушу или яблоко. Попробовали? Теперь вы можете оценить находчивость помещиков, придумавших, каким образом с наименьшими заботами сделать так, чтобы фрукты и ягоды с господских деревьев попадали не в крестьянские желудки, а в дворянские закрома. И при этом наслаждаться пением прекрасного народного хора.

Фамилии помещиков, о которых повествуют «Мертвые души», стали в России нарицательными. Но Гоголь добился и другого: он впервые описал сад, который стал восприниматься образцом русского сада. Чем он всем приглянулся? Что в нем было хорошего? «...все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную

теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности».

Перед нами сад, посаженный однажды садовником по некоему плану, но затем получивший полную свободу расти, как ему вздумается. Нетрудно увидеть, что прообраз этого сада - все те же сказочно-райские кущи. Но важнее другое: любимым русским садом стал сад запущенный, прелесть которого и состояла в его диковатости, милой беспорядочности. Принадлежа вырождающемуся дворянскому сословию, русский сад дичал и приходил в еще большее запущение вместе с людьми.

Гоголь не живописует ни одного крестьянского сада. Проезжая через десятки и сотни деревень, он видел лишь серенькие бревенчатые избы, рядом с которыми не было не то что растущего дерева, но вообще никакой зелени. По словам писателя «везде глядело только одно бревно».

Менее двух веков назад у крестьян, то есть у преобладающей части русского народа, садов не было.



О наступлении новой эпохи в Европе объявил Вольтер. Герой его повести «Кандид», в конце концов, отказался от всяких попыток понять смысл жизни и происходящего на земле. Повесть завершали слова: «Пора возделывать свой сад!»

Эта фраза значила, что уже в 18 веке Западная Европа устала смотреть в небеса в ожидании райского сада, разуверилась в нем и решила, что лучше собственноручно у каждого домика вырастить наземный садик и наслаждаться им, хотя не вечно, но, по крайней мере, от рождения до смерти. Нынешний цветущий вид европейских городов и сел, повсеместный комфорт и удобства жизни, в которых живет западный мир, выросли из призыва Вольтера.

Японцам хорошо известно, что ни комфортом, ни обилием жизненных удобств Россия даже сейчас, вернее, особенно сейчас похвалиться не может. Но из этого не следует, что пока европейцы окружали себя садами, русские сидели сложа руки. Они тоже возделывали, украшали и расширяли свои, поднимающиеся из далекого прошлого сады.

Возможно, никакой другой народ не сложил столько песен о саде, сколько русский. Ни деревца не шелестело возле крытых соломой изб, зато в каждой избе, на завалинках, в полях и в лесах распевали песни про сад. В этом голосистом саду круглый год запросто рос виноград, которого большинство крестьян в глаза не

видело; в нем сходились влюбленные, вместо работы там играли, бросая друг в друга малиной и вишнями.

Стоило зазвучать русским романсам, главное место в них тоже занял сад. Разрастаясь из песни в песню, фольклорный сад перешагнул в двадцатый век. Японцы из множества советских песен обычно знают, а порой даже поют, только две: «Катюша» и «Подмосковные вечера». Но и в таком далеко не обширном репертуаре первая песня начинается словами: «Расцвели яблони и груши...», вторая – «Не слышны в саду даже шорохи...»

В довершение к сказочному, христианскому и литературному саду русский народ обрел еще один необъятный сад - песенный.



Обладателями садовых деревьев многие крестьяне становятся лишь во второй половине 19 века, получая волю и землю.

Чтобы узнать, какими разными путями попадали к ним деревья, стоит перечитать некоторые письма Льва Толстого.

Дочь Достоевского, имея в виду предков Толстого, пылко утверждала, что Толстой не русский, а немецкий писатель. Не станем обогащать Германию еще одним писателем, их не так много в самой России. Но в отношении Толстого к своему обширному усадебному хозяйству и впрямь часто ощущаются чисто немецкие педантизм и аккуратность.

Особенно тщательно он относился ко всему, что было связано с приумножением и украшением его садов. При каждой поездке в Москву он закупал семена и саженцы, в письмах рисовал, какой толщины дерева удалось приобрести. Наказывал своему садовнику, чтобы тот не сажал без него нежные азалии, камелии и акации. Как-то Толстой купил сразу тысячу саженцев. Им был посажен существующий до сих пор сад в 7 с половиной гектаров. Затем он расширил яблоневый сад, отведя под него 38 гектаров земли и посадив 6500 деревьев.

Все выглядело бы идиллически, если бы не одно обстоятельство, о котором в 1864 году Толстой нервно строчил тульскому губернатору: «Воровство в нашей местности с каждым годом увеличивается. Дерзость воров, уведших у меня лошадей, коров, овец и укравших весы с амбара, дошла до того, что прошлой осенью почти перед домом выкопали молодые яблони и увезли. Садовник мой нашел яблони у соседнего мужика... Я объявил о пропаже и находке тогда же и волостному правлению, и становому. Посредник мне отвечал бумагой, что яблони не мои... а становой ничего не сделал и не ответил на неоднократные мои просьбы.

Мужик же должно быть собирается пересадить весь мой сад на свой огород. Ваше превосходительство, пожалуйста, защитите меня».

Вряд ли все крестьяне лезли за деревьями в чужие сады. Дикая груша, под которой я рос, явно была найдена не за графским забором. Какие-то саженцы крестьяне покупали, какими-то обменивались. Но то, что деревья похищались и из дворянских садов, тоже не вызывает сомнения.

И могло ли быть иначе, если крестьянские ребяташки с ранних лет слушали сказки, в которых герой воровал золотые и серебряные яблоки из тридевятого сада, или Библию, согласно которой все деревья принадлежат Господу Богу и никому другому?



Чем теплее одевались деревенские жители, тем больше обнажался наш сад. Зимой он встречал совсем голым.

Был в этом какой-то тихий намек. Сад словно говорил людям: вы спрятались в валенки и тулупы, а я разделся, у вас на дворе, кажется, декабрь, а у меня на отрывном календаре неважно что; у вас своя жизнь, а у меня другая, вне вашего времени и мира.

С первыми снежинками сад на глазах чернел. Вороны крикливо набивались к нему в родственники. Снег валил гуще, но еще больше падали тишина и покой. Деревья еще не завязли в сугробах, лишь ветки утолщались от снега, а сад уже до самых макушек покрывался плотной тишиной и замирал без движения.

Постепенно его заваливало таким снегом, что лишь кое-где из сугробов высывались редкие темные прутья. Деревянной лопатой дед пробивал в высоком снегу узкие проходы к уборной и бане. Странно было бежать по этим холодным щелям и вместо знакомых деревьев видеть справа и слева от себя одни только толстые белосиние стены. Никакого сада у нас больше не было. Вместо него лежал сплошной ватный покров, бравший отпечатки лап у зайцев, волков, лис и птиц.

Сад, будто дразня русского человека, то появляется перед ним, то бесследно исчезает.

Но мы, сидя в избе, подвешенной к небу стружкой дыма из печной трубы, не забывали про свой сад. В чулане долго стоял мешок с грушами. Наша диковатая груша исправно плодоносила каждое лето. Но ее маленьких ярко-зеленых, будто покрытых грубым лаком, плодов никто не ел, настолько они были твердыми и безвкусными. Осенью дед и баба не трясли грушу, не тыкали в нее жердями, отбивая плоды. И все равно на земле валялось столько груш, что некуда было упасть тени.

Вздыхая над пропажей добра, бабушка улучала часок и собирала часть опавших груш в грубый дерюжный мешок, который затем на спине недовольного деда переправляла в дом.

- На что это все? – под нос себе, чтобы не услышала бабушка, бормотал дед. - Это не груши, а семечки!

Но к зиме груши становились темно-коричневыми и смягчались, неожиданно приобретая сладчайший вкус. Бабушка одобряла их, в первую очередь, за податливость.

- Зубов не надо! – расхваливала она груши, угощая ими зашедшую в гости заснеженную соседку.

Но соседки заходили не так часто. Дед, относившийся ко всем фруктам, как к ребячьему лакомству, недостойному аппетита взрослого серьезного человека, не смотрел на груши вовсе. А сама бабушка, хоть и расхваливала чуланные плоды, ограничивалась тем, что высасывала темный сок от силы из одной-двух груш. Груши окончательно сгнивали, и дед, чертыхаясь намного громче, чем тогда, когда он втаскивал мешок в чулан, выносил груши в сарай и высыпал их в корыто свиньям.

Оставались якобы предназначенные для компота кусочки засушенных яблок, которыми были набиты несколько лежавших на печке ситцевых мешочков. Тот, кто лез на печку погреться или вздремнуть, подкладывал иногда эти толстобокие, хрустящие мешочки себе под голову. Уютно было засыпать на них. Уютно было под вой метели с наслаждением вдыхать тонкий приглушенный яблочный аромат. Это были самые вкусные подушки на свете!

Но, в конце концов, от жарких печных кирпичей и от наших голов сушеные яблоки превращались в труху, и ранней весной бабушка брезгливо вытряхивала содержимое мешочков на подтаявший фиолетовый снег. И отошавшие воробьи с радостью набрасывались на нежданное угощение.

Я видел, что ни продать свои фрукты, ни обратить их в сок, вино или мармелад, баба с дедом не умеют и не могут.

Они не знали, что им делать с плодами, ежегодно в изобилии появлявшимися на деревьях. Ни яблоки, ни груши из сада были им по сути дела не нужны.



Русские газеты начала 20 века во множестве печатали объявления о продаже разоряющимися дворянами своих имений. В чужие руки переходили сады, принадлежавшие Онегину и Татьяне, героям Гоголя и Толстого, сады, где в сырой траве еще темнели

вмятины, указывающие, что именно тут поэты падали на колени перед тургеневскими барышнями.

Что произошло с помещиками и их садами, лучше всего объясняет пьеса Чехова «Вишневый сад», в которой как раз и описывается продажа старого дворянского сада. Чехов часто напоминает фокусника, который из уха достает золотые часы и бесконечные ленты, а из шляпы – десяток кроликов и птиц. Любимое его занятие – прятать большое в малом. И в его пьесе интереснее всего ремарки, мелочи, фразы, сказанные как бы мимоходом.

На первый взгляд, в уже знакомом нам русском саду ничего не изменилось. Сад, как восклицает его владелица, все так же молод, то есть не ведает смерти, полон счастья, и ангелы небесные не покинули его. В нем обитают и давно умершие люди: помещица видит, как по саду в белом платье идет ее давно умершая мать.

Но с самого начала пьесы и потом по ходу действия не раз вскользь указывается, что в саду холодно, чертовски холодно! Никто, ни один из героев пьесы по саду не гуляет, на цветущие деревья только смотрят сквозь плотно закрытые окна. На саде как будто появился невидимый замок. Деревья живут сами по себе, люди – сами по себе. Будущие плоды сада никого не заботят. Дряхлый лакей бормочет, что никто уже не помнит способа, как хранить вишни.

Самое важное у Чехова – не история о том, как безалаберная помещичья семья теряет свою землю с растущим на ней вишневым садом. Этот прекрасный сад с его ангелами и душами умерших меньше всего принадлежит земле. Скрытый пафос пьесы в том, что для ее героев навсегда закрылся вход в мистический сад, в счастье и бессмертье.

Разгадка того, почему старый гостеприимный сад закрылся для людей, отгородился от них непроницаемой стужей, лежит в самих людях. Среди них нет ни одной влюбленной пары. И свой сад, как признается одна из героинь пьесы, они тоже разлюбили.

Лишь любовь была пропуском в этот сад, лишь любовь давала право на жительство в нем. Пьеса Чехова говорит и о кризисе религиозного сознания, о том, что в России, говоря словами Ницше, «Бог умер», и наступают времена беспощадной классовой ненависти, политической вражды, всеобщего отчуждения и равнодушия друг к другу.

«Вишневый сад» кончается под стук топоров, которыми рубят и валят цветущие деревья. Эти топорные звуки громко и прямо вели в будущие революции и войны. Чехову дано было знать: когда одни,

обеднев любовью, потеряют небесный сад, другие из корысти или из вражды к прошлому захотят извести его под корень.



Новые хозяева помещичьих садов покупали их за деньги и, как правило, ради денег. Сады вырубали, чтобы разбить землю на дачные участки, или же стремились превратить в источник дохода, выгодно продавая их плоды.

Видя, как тысячи деревьев объявляются вдруг собственностью людей, которые прежде никакого отношения к этим деревьям не имели, крестьяне еще больше участили набеги на старые сады. Во времена Гоголя фруктовые сады успешно охраняло пугало в женском чепце. Через сто лет в тех же садах летом поселяются караульщики, которые каждую ночь палят из ружей по звездам, оповещая окрестных жителей, что в саду можно отведать не только яблоко, но и пулю.

Русская поэзия, наученная листвою музыке и словам, увидела в начале 20 века, что лишилась привычного сада. В итоге, как и следовало ожидать, количество стихотворений о саде намного возросло. Но это совсем другие стихи, чем раньше.

Разгуливавшие по тенистым дорожкам поэты 19 века сочиняли стихи, где часто упоминался сад, а на деле почти не замечали его, занятые мечтами о своих возлюбленных. Их потомки будто прозрели и, забыв о былых страстях и всегдашних подругах, начали мечтать о цветах и деревьях. Потеряв сад, поэты, наконец, его рассмотрели.

Для нового времени показательное стихотворение Гумилева «Деревья». Поэт называет Землю чужбиной для людей и отчизной для свободных зеленых народов. Он слышит, как души деревьев под землей, с подводными водами посылают друг другу тихий зов, рассказывая о том, где сломан вяз, где оделась листьями сикомора. А кончается стихотворение так:

О, если бы и мне найти страну,
В которой мог не плакать и не петь я,
Безмолвно поднимаясь в вышину
Неисчислимые тысячелетья!

Прочитав эти строки, японцы могут вспомнить хайку Рета Осима:

Осенняя луна.
О, если б вновь родиться
Сосною на горе!

Сад

Да, меня столетия, страны и обличья по Земле странствует один-единственный поэт, который на разных языках пишет и мечтает об одном и том же. Но до 20 века в русских стихах не выражалось желания обратиться в дерево.

Поэты первыми ощутили, что утрата извечного чудесного сада равнозначна потере родины, превращению мира в чужбину. Тоскуя о потерянной родине, они не вспомнили, что дорогу к ней знает любовь, а стали грезить о сходстве с деревьями в надежде, что деревья снова братски впустят их в свою семью.

Отныне стихи русских поэтов о саде значат только то, что никакого сада у них нет в помине.

И разве я, будь у меня настоящий сад, писал бы это эссе о саде? Да ни в коем случае! О, я бы нашел, что мне делать в собственном зеленом просторном саду вместо того, чтобы, морщась от табачного дыма, тыкаться носом карандаша в безответную бумагу.



Коммунистическое правительство начало с того, что попыталось выкорчевать из народного сознания образ райского сада, объявив религию чепухой и обманом. Сказки тоже были объявлены вредными, и чтение их детьми не поощрялось. Одновременно было твердо обещано, что скоро установится коммунизм, про который официозный советский поэт написал:

Я знаю, саду цвeсть!

Пропаганда убеждала, что Советский Союз превратится в сплошной цветущий сад, где все будут счастливы. В основе новой утопии лежал старый небесный сад, который следовало низвести на землю. Этого сада должно было с избытком хватить не только для всей территории СССР. Когда в 60-е годы в космос полетели советские ракеты, по радио бодро запели, что скоро яблони зацветут и на Марсе.

Сады, некогда принадлежавшие помещикам и богачам, частью были вырублены и расхищены, частью заглохли и окончательно одичали. В более или менее первоначальном виде сохранились лишь те из них, которым повезло оказаться в усадьбах, зачисленных в разряд музеев.

У крестьян, в прошлом работавших в господских фруктовых садах и видевших, что из фруктов можно извлечь прибыль, завелись на огородах немногочисленные плодовые деревья. Но разбогатеть с их помощью никому не удалось, философствовать и читать книги под ними крестьяне не привыкли, поэтому были более прохладны к деревьям, нежели деревья к ним.

Однажды государство, возжелавшее превратиться в сад и не знавшее в связи с этим, какими еще дополнительными налогами обложить народ, ввело налог на каждое садовое дерево. Буквально на следующий день после публикации соответствующего указа колхозники начали беспощадно вырубать собственные сады. Истребление деревьев приняло такой размах, что правительство поспешило отменить свой указ, чего обыкновенно не делало.

Но самое печальное в 20 веке в России произошло не с садом, а со словом «сад». Слово не изменилось, но если раньше в него вмещались и тридевятое царство, и рай, и сотни разнообразных деревьев, кустов, цветов, росших в дворянских владениях, то теперь ничего кроме пары яблонь и груш, да трех-четырёх слив в нем не зеленеет. Садом начали называть несколько простецких плодовых деревьев.



В первых числах мая в садах и огородах сгребают в кучи подсохшую прошлогоднюю картофельную ботву, опавшие звонкие ветки, прелые листья и поджигают их. Пахнущий сыроватым погребом, уютный дым ползет над землей.

Этот дым особенно плотен. Он с трудом перелезает заборы, шествует веско и внушительно. Кажется, войдя в него, попадешь в густую толпу призраков, которые увлекут тебя в многообещающие весенние дали. Дым неуклюже взбирается на деревья, застревает в ветвях и не может с них слезть. Скоро сады расцветают.

В двадцать лет, студентом, я на пару майских недель вырвался из города, где учился. Повинуясь странному желанию, я поехал не к родителям, а к деду и бабе. Деревня празднично блестела свежей травой и листвой, теплым бездонным небом, прохладным прудом и рекой. Даже ручка колодца светилась и сверкала, как серебряная. И всю цвели сады.

Я отсыпался, вставал поздно, позавтракав, брал старинное домотканое покрывало и уходил в сад. С собой я не привез ни одной книги, только блокнот с черновиками стихов, который так и остался валяться в чемодане. А у деда в тумбочке под телевизором были только «Биография Сталина» и «Пособие по пчеловодству». От Сталина пахло древностью и мышами, от книги по пчеловодству - сладковатым ароматом воска и сухих цветов. Читать было нечего.

Входя в ослепительно белоснежный сад, я расстилал покрывало на траве под старой антоновской яблоней. Затем так, от нечего делать, шел к бане, бревна которой в эти дни тоже светились, и смотрел на раскатистые поля и холмы, на проселок, убегающий в

горизонт, на сверкающее березовыми стволами недалекое сельское кладбище. Насмотревшись на округу, возвращался под яблоню, растягивался на покрывале и, закинув руки под голову, блаженно уставлялся в цветы и небо.

Ни о чем не думая, думаешь обо всем. Я вспоминал о бродячем украинском философе со смешной фамилией Скворода. Жил он в далекие времена, был казаком, но не имел ни сабли, ни коня, ни дома. Он странствовал по Украине, останавливаясь у разных добрых людей. Однажды хозяин усадьбы застал его в саду, где Скворода рыл яму.

- Что ты делаешь? – спросил удивленный хозяин.

- Рою себе могилу, - невозмутимо ответил философ.

Вскоре он действительно умер.

Приходила мысль о том, как, наверно, хорошо и легко умирать в весеннем саду, в деревне, где каждый день, идет ли человек в поле или едет в лес, он отовсюду видит тихое березовое кладбище на пригорке, которое постепенно приучает его к смерти. Я думал, что дед и бабушка, голоса которых доносились до меня со двора, будто из другого мира, тоже скоро умрут и нельзя, чтобы этот сад достался чужим. «Я сам куплю их дом и сад», – решил я и счастливо представил, как много нескончаемых лет с приходом весны буду приезжать сюда, босиком бродить по траве, лежать под деревьями, вспоминать детство...

Старая косточка от сливы ударила меня в локоть и, скосив глаза, я увидел в соседнем саду, отделенном от нашего только узкой межой, быстро отвернувшуюся девушку. Это была дочка соседей. В светлом коротком сарафане, со светлыми, по-домашнему слегка растрепанными волосами она тоже ежедневно появлялась в саду.

В первые дни она просто тихонечко ходила вдоль межи, лишь иногда украдкой поглядывая в мою сторону любопытными глазами. Потом осмелела и принялась все громче мурлыкать разные незатейливые песенки. Вчера привела в сад младшую сестренку и долго бегала за ней, дурачась и хохоча. А сегодня немножко уже, наверно, раздосадованная, что я никак не выхожу из роли лежебоки, приступила к обстрелу меня косточками.

Я лежал и лениво сознавал, что надо встать, подойти к девушке, пошутить, познакомиться; покусывая скрипучую травинку, поговорить о всяких пустяках и договориться встретиться в сумерках. «Как хорошо и запросто можно было бы влюбиться в эту милую девушку, - думал я, - целоваться с ней под деревьями».

Но я не двигался, охваченный незнакомым забытьем и счастливым, не вмещающимся в груди чувством, что мне ничего, абсолютно ничего не нужно, что у меня есть все. Не шевелясь, я и

так знал, что у губ девушки привкус молока и варенья. И тут же забывал о девичьих губах. Меня переполняло что-то бесформенное, безмерное, упоительно гладкое, в котором было все возможное и невозможное. И это внезапно открывшееся, головокружительное невозможное завораживало и притягивало так, как ничто на земле.

Через две недели, провожая меня, бабушка вышла на шоссе к остановке.

- Когда теперь вернешься? – спросила она.

- Не знаю, - сказал я, стоя рядом с ней, и уже совсем от нее далекий.



Дед умер первым, бабушка – в 1998, когда я уже был в Японии. «Ну, так что, - из вежливости написал мне отец, - Будешь покупать деревенский дом? А то родня надумала продавать его». Я так же вежливо отказался.

Родной для меня дом, сад, хозяйственные постройки и 40 соток земли были проданы за сумму, составляющую в пересчете на японские деньги 30 тысяч иен.

Давно я не был в деревне, где когда-то жили мои дед и бабушка. Вполне возможно, люди, купившие их дом и участок, вырубил старый сад и засеяли все картошкой. Кому нужны дряхлые яблони и никчемная дикая груша?

Я не думаю об этом. Сада у меня нет и, кажется, до смерти не будет. И откуда ему взяться? На земле есть английский сад, французский, японский... Допускаю, что даже у бедуинов, живущих в пустыне, есть свой пустынный бедуинский сад. А русский сад – это, скорее, метафизическое понятие. Он растет у меня за плечами вместе с прошлым.

Смирившись с тем, что участвую в какой-то странной игре, я уже много лет подряд просыпаюсь, встаю и ухожу от него то в университет, то к друзьям, то в глаза жены, то в книги. Но однажды, как бы ни звонил будильник, я не проснусь ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью, и тогда раскинувшийся на вечность сад настигнет и перешагнет меня. Может быть, я стану только удобрением для него. А может, шумная зеленая лапа, полная цветов и сверкающих плодов, дотронется до моего плеча, и я пойму - все кончилось, все только начинается.